Содержание

ШПИОН, УЕХАВШИЙ В ХОЛОД И ТАМ ПРОПАВШИЙ	5
БЕЗ ГРАДУСОВ ДУШИ	10
«ЛЯХИ»	16
МОЙ ПРОВОДНИК	26
СМЕРТЬ МАЙОРА	35
ПОСПЕШАЕТ В НАПРАВЛЕНЬЕ РАЯ МОКРАЯ НАТАШЕЧКА НАГАЯ	49
МИША СОКОВ	79
ХВОСТ	83
СМЕРТЬ НА САНСЕТ-БУЛЬВАРЕ.....	91
КОНЕЦ КАПИТАНА САВЕНКО	97
АМЕРИКАНСКИЙ САКСОФОНИСТ	110
СМЕРТЬ СМОГИСТА	116
КРОВЬ НА АСФАЛЬТЕ	121
МУЧЕНИК	132
ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ.....	140
КОНЬ ЖУКОВА	144
АЛЕКС КИВИ.....	149
ПУРИТАНКА	153
ПОТОМОК ЧУВАШСКИХ ШАМАНОВ	158
ЭТОТ ПАРЕНЬ БЫЛ ЗДОРОВО ПОХОЖ НА ЖАНА ЖЕНЕ	165
СЛИВШИЕСЯ СЛУЧАЙНОСТИ	172

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОЭТ	178
СЛАВА	184
МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИСТ	191
В СВОЕЙ ПОСТЕЛИ	195
С ГОЛОСОМ ЖЕНЩИНЫ-ДЕМОНА	201
УБИЙСТВО У КОНФЕТНОЙ ФАБРИКИ	204
КРАСНЫЙ ЕГОР	211
СМЕРТЬ МАТЕРИ	235
«СПАСИБО» ЗА ТОТ ЗАПАХ КОНЬЯКА	264
«ПОД БОМБАМИ»	268
ПЕРЕДАЧА ТИТУЛА	273
МОЙ ГЕНЕРАЛ	288
РУССКИЙ РАБОЧИЙ	294
ТРУП У СТАНЦИИ ВЫХИНО	303
НАСЛЕДНИЦА МАЙОЛЯ	308
ТОЛИК	314

Шпион, уехавший в холод и там пропавший

Гарик Басмаджян

Он стоит у меня перед глазами как кататоник, застыл навеки в движении за стеклянной дверью его галереи на бульваре Распай. Клетчатая рубашка, начинающаяся лысина. Мелок. Я уже на бульваре, я полуразвернут к нему, он закрывает двери. Рот его открыт — это он мне говорит: «До свиданья!» По обе стороны от дверей — два французских жандарма с автоматами, ибо в те годы — с 1985-го по 1988-й — во Франции активизировалась армянская террористическая организация ASALA, провела серию взрывов... и исчезла. Но только из Франции, потому что уже в те же годы ASALA всплыла в СССР и в Армении. Они как рыбы в мутную воду перебазировались в перестроечный Советский Союз. Как следствие перебазирования несколько русских офицеров были убиты в Ростове-sur-Don (так писал великий Селин: Rostov-sur-Don). И что бы еще они наделали, эти горячие армянские парни, в Москве и российских городах, борясь за независимость, но их внимание отвлек Карабах. Там они нашли свое место. Я полагаю, что ASALA перебазировалась в СССР не без помощи французской разведки. А что, это было мудро с точки зрения французов — чтобы эти парни не взрывали французских граждан на французской земле, им помогли передислоцироваться. Пусть взрывают советских.

При чем тут жандармы, стоящие у входа в галерею Басмаджяна на бульваре Распай весной 1988 года? Французское министерство внутренних дел выставило в те дни охрану к советскому посольству, к консульству, к торгпредству. Но почему к галерее? По-видимому, они рассматривали Басмаджяна как часть советского мира. Он свободно

ездил в СССР, возможно, у него даже был советский паспорт. Еще в его галерее собирались эмигранты из СССР. Он всех нас подкармливал. В тот день я приходил к нему за деньгами в долг. Денег он не дал, зато щедро угостил кокаином и коньяком. Поэтому у меня, поворачивающегося к нему и машущего ему рукой, вполне довольный вид.

Он уже отворачивается тоже и уходит в месиво чужих рук, и торсов, и лиц. С этими людьми он вышел меня провожать. Я их не знаю, и глядя из года 2008-го в 1988-й сквозь толщу двадцати лет, вот я думаю, чихая от пыли этих лет: может быть, они его и грохнули, это общее месиво, эти отдельные лица? Потому что он вскоре пропал в СССР и так и не был найден.

Он, наверное, был шпионом. Как у многих армян, у него была захватывающая биография. Начнем с того, что он родился в городе Бейруте, некогда город называли Парижем Ближнего Востока. Родившись в Бейруте, он почему-то свободно ездил и в Ереван, и в Москву, то есть свободно передвигался, чего все мы, эмигранты тех лет, были лишены. Мы ему завидовали. К тому же, что не редкость среди армян, он умел делать деньги. Он продавал картины русских художников XIX века, всяких третьестепенных Айвазовских, к которым я, признаюсь, и тогда, и теперь испытывал презрение. Но он продавал и был верно ориентирован уже тогда: свидетельство тому — сегодняшний успех русского рынка искусства: Сотби'с продают Айвазовских уже за приличные деньги.

Впервые я попал к нему с моей опереточной женой Еленой: в 1980-м у меня с ней опять начался роман. Чтобы этот роман получался глубоким, нам нужны были наркотики. Ничего серьезного мы не искали, хотели купить гашиш. Басмаджян был нам рекомендован художником Юрием Купером, бывшим Куперманом. Галереи тогда у Басмаджяна не было, жил он в забытом мною месте Парижа, но помню, что

на окраине. Увидав красивую опереточную жену мою Елену, он сделался гостеприимным и дружелюбным. В клетчатой рубашке, рано начавший лысеть, невысокого роста, не богатырского телосложения, он раскинул перед нами свои богатства: предложил сколько угодно амфетаминов, таблетки эти он в промышленном масштабе привозил из СССР, во Франции они считались наркотиками, в СССР стоили буквально медные копейки. Он накурил нас у себя, не продал, но подарил приличный кусок гашиша. Когда мы ехали от него ко мне на rue des Archives, мы были уверены, что Гарик отличный тип. Добрый товарищ, меценат для поэтов и красивых женщин. Впоследствии мне не пришлось сменить это мнение. Видимо, просто потому, что я не жил с ним вплотную следующие восемь лет. А лишь приближался к нему моментами. У меня оформлялась моя, особая, только моя литературная и личная судьба — в ноябре 1980-го у меня вышел первый роман по-французски («Le poète russe préfère les grands nègres»), роман имел шумную известность, я удалился от толпы эмигрантов во французскую, крепкую, как сигареты «Житан», жизнь. У Басмаджяна шла его жизнь, он стал носить пиджаки, завел галерею в очень престижном месте, пиджаки год от года становились все более солидными и стоили, видимо, все дороже. Однако меценат в нем не угас. Он с удовольствием поил и развлекал у себя в галерее шумных русских художников, даже с риском оттолкнуть покупателей — он принимал их и оставлял французских покупателей ради русских художников без сожаления.

Он продолжал ездить в СССР, видимо, без особых затруднений и с явной выгодой для себя. Он мало что говорил о своих поездках. С годами я все более уверил себя, что наш меценат — шпион для нескольких стран: Армении, СССР, Ливана, плюс французской разведки. Может, мне хотелось так думать. Небольшая тень в наших отношениях упала на него, когда, может быть, за год до его исчезновения

Наташа Медведева напилась пару раз у него в галерее в компании русских художников. Как раз тогда сломалось ее железное здоровье, и она все чаще и быстрее пьянела. В пьяном виде Наташа представляла собой стихийное бедствие. Она могла влезть на стол и танцевать голой, как утверждали злые языки. В том же 1988-м я силой повел ее, молчаливую и хмурую, в черном пальто и черном платке, к доктору. Доктор сказал, что мне нужно подготовиться к подвигу всей моей жизни, потому что женский алкоголизм не лечится. Я сказал, что я готов, доктор выписал алкоголичке белые мелкие таблетки Esperal и наказал принимать их каждый день с утра. Подразумевалось, что если моя подруга выпьет алкоголь, то ей будет очень худо, к физиономии прильет кровь, взлетит вверх давление, чуть ли не кровь закипит. Мы молча ушли. Я обошел всех ее русских знакомых и попросил, кого вежливо, кого настойчиво, а иных — угрожающе, не пить вместе с больной алкоголизмом Наташей. Большинство изгнанников восприняли мою просьбу с пониманием. Басмаджян посочувствовал мне, но давать обещание отказался. «Наташа — вольный дух, и как я могу ей запретить приходить сюда. Вы — мне оба друзья, а проверять, пьяная она или нет, я не буду. Не преувеличивай, Эдик...»

Эдик не преувеличивал, дела с Наташей обстояли плохо. Философичность Басмаджяна мне не понравилась. Я ушел и появился у него только через несколько месяцев — смилив гордыню, пошел занимать денег. Вот тогда я увидел его в последний раз в стекле дверного проема его галереи: я полуразвернут к нему, он закрывает двери. Как оказалось, двери в его жизнь. Больше я его не видел. Вскоре стали циркулировать слухи, что он пропал в Москве. Выехал на встречу и не вернулся. Черные умы вскоре заговорили о том, что «Басмаджяна пропустили через мясорубку». В те годы внезапно закипевшая Россия уже пользовалась мрачной славой черной дыры.

Я вспомнил о нем уже в следующем, 1989 году, в декабре, когда сам оказался в Москве, в гостинице «Украина», откуда, если верить информации нескольких моих парижских знакомых, и вышел в свой последний путь Басмаджян. Гостиница напомнила мне тогда древний храм Змеи из фильма «Конан-варвар», на ее стенах были установлены проволочные сетки для ловли падающих кирпичей. Полуосыпавшаяся, разрушающаяся, она все же была величественна и как-то слилась у меня с образом человека, выходящего из ее дверей на мученическую смерть. Я неплохо описал и гостиницу «Украина», и черную дыру Москвы в книге «Иностранец в смутное время».

Строились и, видимо, строятся и сейчас теми, кто его не забыл, и его родственниками наверняка догадки о том, кто ответствен за его исчезновение и, по-видимому, убийство. Бизнесмена Басмаджяна могли убить криминальные бизнесмены — говорят, у него при себе была крупная сумма денег, либо эти люди верили, что у него может быть спрятана крупная сумма денег, и могли пытаться его, а потом и убили. Если же поверить в то, что он был шпионом (а в это заставляет поверить небывалая легкость, с какой он пересекал границы, да не пустой, а с килограммами наркотиков), то количество разведок, которые могли убрать его, наказав за предательство или проступок, также велико. Могли убрать его и ребята из террористической организации ASALA. Возможно, он перед ними в чем-то был виновен. Не зря же французское государство приставило в те годы охрану к его галерее.

Так как я жил рядом с этим странноватым человеком, курил его гашиш, нюхал его кокаин, пил иногда его коньяк, то иногда он снится мне во сне живущим в огромном каменном доме в республике Нагорный Карабах. Он сменил фамилию и сделал пластическую операцию. И живет себе припеваючи с новой семьей. Мне хочется верить не в мясорубку, а в счастливую сказку.

Без градусов души

Сергей Довлатов

Так называемые писатели вообще-то жалкие существа. Иоганнов Вольфгангов Гёте среди них мало. В основном это мятые, нерасторопные люди с ярко выраженной дисгармонией и в одежде, и в лице, и в фигуре. И в деталях лица, и в деталях фигуры. Такое впечатление, что дисгармония — их отличительный признак. Знаменитый поэт Байрон весил около девяноста кг, будучи совсем небольшого роста. Романтик толстяк, толстяк романтик.

Довлатова помню, как такое сырое бревно человека. Его формат — почти под два метра в высоту, неширокие плечи, отсутствие какой бы то ни было талии — сообщал его фигуре именно статус неотделанного ствола. Не знаю, как он был одет в Ленинграде, но в Америке люди его склада радостно облачались в бесформенные джинсы и мятые рубашки, а то и просто в потные безразмерные тишотки, то есть обретали вид вечных нерях. Он обычно носил вельветовые заношенные джинсы, ремешок обязательно свисал соплею в сторону и вниз. Красноватое лицо с бульбой носа, неармянского (он говорил, что он наполовину армянин), но бульбой, вокруг черепа — бесформенный ореол коротких неаккуратных волос. Судя по фотографиям, в Париже в 1978-м он был с усами. Впоследствии прибавил к усам бороду, заспанную и недлинную. Он умудрялся всегда быть с краю поля зрения. И всегда стоять. Именно сиротливым сырым бревном.

Впервые я увидел его фамилию в журнале «Эхо»: такой журнал издавался в начале 80-х годов в Париже эмигрантом, бывшим питерским писателем Володей Марамзиным и поэтом и музыкантом Алексеем Хвостенко. В номере 3 этого

журнала за 1978 год были опубликованы отрывки из моей книги «Дневник неудачника». Вот не помню, в том же ли номере «Эха», либо в следующем, были опубликованы и отзывы на мою публикацию. Некто Ефимов называл меня «литератором-бандитом», а Довлатов меня защищал. Он написал: «Бандит ли Лимонов или нет, это либо беда, либо нет для его семьи, а вот талантливость Лимонова меня возвышает и радует». Меня и сейчас не балуют похвалами, а в те годы меня атаковали литераторы всех поколений эмиграции. Мои два первых произведения (отрывки из «Этo я, Эдичка» появились в журнале «Ковчег») атаковали с такой яростью, словно защищали от меня жизни своих детей. И вот на фоне истеричных визгов «против» я прочел довлатовское «за». Мне хватило его высказывания на несколько месяцев хорошего настроения. Его фамилия мне ничего не говорила, из питерцев я знал Бродского, Марамзина, Хвостенко, поэта Кривулина, тех, кто приезжал в Москву. Ибо удосужиться съездить в Питер я, до эмиграции, так и не соизволил. Попал туда впервые уже после эмиграции по делам партии.

Недолго посидев в Париже, Довлатов приехал в Нью-Йорк. Он держался одной компанией с семействами Вайлей и Генисов. Они где-то там в Квинсе, кажется, все вместе и поселились. А может, в Бронксе. Я же жил в стремных криминальных отелях в центре города. Во время первых месяцев пребывания Довлатова в Нью-Йорке мы несколько раз встречались. Реальной причиной для моего с ними соединения, впрочем, был вовсе не Довлатов. Брат Вайля был женат на чудесной зеленоглазой Светке, у которой был маленький ребенок и старый любовник, австриец. Брат Вайля, правда, уже не жил со Светкой. Я влюбился в Светку и стал с ней спать. Впрочем, иногда к нашей паре присоединялась еще одна девочка — я описал ее в рассказе «Мой лейтенант», да так прочно, что забыл ее настоящее имя. Каюсь,

я всегда был сластолюбивым типом, похотливым и козлоногим. Остаюсь и сегодня таким — моя похотливая природа приносит мне в наказание не только удовольствия, но и неприятности. Часть моей истории со Светкой правдиво рассказана в рассказах «Ист-Сайд — Вест-Сайд» и «Знак голубя». О, Светка, как жаль, что любовь наша была столь коротка! У нее были чудесные половинки попы, в форме пышных эллипсов, и пронзительные зеленые глаза.

...А да, Довлатов! Я помню, что мы всей большой компанией искали дешевый ресторан на воздухе. Был летний вечер, и не хотелось забиваться в окондишенное помещение. Я предложил им, не мудрствуя лукаво, купить алкоголь и еду в супермаркете и отправиться в Централ-Парк. Мы шли в это время по 59-й Централ-Парк Южной улице. Там были открытые загончики ресторанов, за столиками сидели уважаемые миссис, мисс и мистеры. Но нам, эмигрантам, эти заведения были не по карману.

— Вон он, тенистый, ждет нас, — указал я на тихо шумевший кронами деревьев на противоположной стороне Central Park South — Центральный Парк.

— Американцы убеждали нас с наступлением темноты в Парк не ходить, — сказал Петр Вайль. — Там опасно.

— Чепуха, — сказал я. — Посмотрите на себя, вы сами опасны, здоровенные ребята! Я хожу в мой отель «Diplomat» через Парк в любое время дня и ночи, потому что если его объезжать на автобусе, путешествие будет очень долгим. Через сам Парк неохотно ездят такси, да на такси у меня и денег нет.

Довлатов осторожно поддержал меня. Мы договорились, что купим вина и продукты, но далеко в глубину Парка углубляться не станем, расположимся у ограды. Когда мы вошли в Парк с покупками, Довлатов с Вайлем все же притихли. Влажный Парк еле шевелил своими зелеными щупальцами. В нем было пустым-пусто. Мы взгромоздились на поросший зеленью холм у самой ограды, у корней остро пахнущей

пинии. За оградой красиво шелестели колеса больших автомобилей. После первых стаканчиков калифорнийского белого шабли они вынули сигареты и расслабились. С нашего холма легко было наблюдать и посетителей ресторанов и прохожих. Огни различных цветов мигали, вспыхивали.

— Приятно, — сказал Довлатов. — Спасибо, Лимонов.

Сказать, что я помню, о чем мы впоследствии говорили, я не могу. Потому что не помню. Помню момент. Влажный вечер в раскаленном Нью-Йорке, мы укрылись на краю свежей роши. Светка, некоторое время стеснявшаяся брата мужа, подошла, села рядом со мной. Обняла меня... И мы крепко вдохнули запахи растений.

Довлатов, видимо, производил впечатление на людей с деньгами. Ему дали денег на издание газеты «Русский американец», и он стал конкурировать с «Новым русским словом». Так как Яков Моисеевич Седых, владелец «Нового русского слова», обвинив меня в пожаре в помещении газеты в 1977 году и настучав на меня в FBI, сам позиционировал себя как мой враг (меня два раза вызывали в офис FBI в Нью-Йорке на допрос и провели против меня расследование, даже мою жену вызывали; один из агентов все время ошибался, называя меня «Мистер Лермонтов»), получалось, что только по одному этому Довлатов — мой друг. Друг-то он, возможно, и был дружелюбен, но напечатать в своей газете интервью со мной он так и не смог. Или не захотел. Вероятнее всего, не захотел, чтобы не подвергать себя ненужному давлению. У меня уже была репутация опасного революционера и troublemaker(a). Я на Довлатова не обижался, мне было не до него. Я не относился к нему серьезно, то, что Довлатов сочинял и начал публиковать («Соло на ундервуде», 1980; «Компромисс», 1981; «Зона. Записки надзирателя», 1982; «Заповедник», 1982), воспринималось мною как полная хохм бытовая литература. В ней, по моему мнению, отсутствовал трагизм. Когда впоследствии, уже после своей

смерти, Довлатов сделался популярен в России, то я этому не удивился. Массовый обыватель не любит, чтобы его ранили трагизмом, он предпочитает такой вот уравновешенный компот, как у Довлатова: так называемый приветливый юмор, мягкое остроумие, оптимистическое, пусть и с «грустинкой», общее настроение. Мой «Эдичка» большинству обывателей был неприятен, чрезмерен, за него было стыдно, а герои Довлатова спокойны без излишеств.

Постепенно он стал боссом, потому что, если ты главный редактор эмигрантской газеты, то перед тобой вынужденно заискивают. Искать твоей дружбы одних гонит тщеславие и страсть к графоманству, других — жалкая бедность эмигрантского бытия. Довлатов в короткое время стал новым Яковом Моисеевичем Седых. Седых тоже, в конце концов, не был лишен достоинств и таланта. Главный редактор эмигрантской газеты вынужденно принимает на себя и роль своего рода главы мафиозного клана. Он может не принять рекламу нового колбасного магазина, русские и евреи не станут туда ходить, и ты прогоришь. Или рекламу рыбного магазина, или ресторана. Довлатов управлялся со своим новым местом очень неплохо, много врагов не нажил, всех старался ублажить, и все более-менее были им довольны в Нью-Йорке. У него оказался талант к налаживанию существования, Бродский отнес его рассказ в «Нью-Йоркер», и легендарный журнал, печатавший в 20-е и 30-е годы на своих страницах лучших авторов Америки, опубликовал Довлатова. Потом Бродский устроил ему английскую книгу. (После чего Бродский возревновал все-таки Довлатова к американскому читателю и прекратил ему помогать.) Об успехах Довлатова я узнавал уже в Paris, куда переехал вслед за судьбой своего первого романа в мае 1980 года. Вести об успехах привозили наши общие знакомые.

Я побывал в Америке в 1981 году и встретил Довлатова на конференции по новой русской литературе

в Университете of South California в Лос-Анджелесе. Знаменитая моя шутка, когда поэт Наум Коржавин ругал меня десять минут и не хотел заканчивать, а я, спросив у ведущего, полагается ли мне время, и если да, то сколько, подарил свое время Коржавину, и он продолжал ругать меня уже за мой счет еще десять минут, имела место именно на той конференции. Довлатов верно передал ее. Он заблудился, однако, упомянуть, что на той конференции я пережил свой литературный триумф, да такой, какого не имел ни один русский писатель со времен выхода «Ивана Денисовича». В первый же день на первой сессии конференции оказалось, что из четырех прочитанных западными профессорами докладов три доклада были посвящены мне и моей книге «Это я, Эдичка».

Когда я наконец попал опять в Нью-Йорк осенью 1990 года — издательство «Grow Press» пригласило меня для промоушэн моей книги «Memoires of a Russian punk», — Довлатова уже не было в живых. Он умер в августе 1990-го от сердечной недостаточности.

Что я думаю сегодня о его творчестве? В сущности, думаю то же, что и в 1980-е годы. Что писателю Довлатову не хватает градусов души. Что раствор его прозы не крепкий и не обжигающий. Самая сильная литература — это трагическая литература. Тот, кто не работает в жанре трагедии, обречен на второстепенность, хоть издавай его и переиздавай до дыр. И хоть ты уложи его могилу цветами. Ну а что, это справедливо. Только самое жгучее, самое страшное, самое разительное выживет в веках. Со слабыми огоньками в руке не пересечь великого леса тьмы.

Хотел бы я хоть чуть-чуть походить на Довлатова, и чтоб моя биография хоть чуть-чуть напоминала бы биографию этого сырого мужика с бульбой носа? Решительно не хотел бы — если бы увидел в себе черты «довлатовщины», то есть ординарности, то я растоптал бы такие черты.

«Ляхи»

Старые фотографии XX века имели свойства быстро желтеть, засыхать, как вложенные меж страниц книги растения, становиться ломкими, выцветать, как выцветают сейчас листки, присланные по факсу. Интересно, в век цифровых фотографий станут ли так же быстро выцветать фотографии, отпечатанные на бумаге «кодак»? Неизвестно. Фотографии моей памяти тускнеют, это факт.

В школе с девятого класса у нас учились в классе Лях, Ляшенко и Ляхович. Мало того, что все три фамилии происходили от одного корня «лях», то есть поляк, в просторечии украинского языка (вспомним, Тарас Бульба перед тем, как убить сына Андрия, грозно-сочувственно вопрошает его: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»), то есть, видимо, предки этих наших ребят прибыли когда-то в Харьков из Польши и так и звались «ляхами», так еще Лях и Ляшенко были двоюродные братья!!! Оба занимались спортом: Толик Ляшенко был отличным легкоатлетом, бегуном, а Генка Лях отличался на ниве тяжелой атлетики: толкал штанги, метал диски. В спортивных штанах, майке, довольно крупный, хотя и невысокий: старательный чубчик чуть набок — таким мне сохранили Генку фотографии моей памяти. Толик же Ляшенко полностью соответствовал классификации легкоатлета: долговязый, выше всех в классе. Оба были спокойные, знающие себе цену ребята. Семьи у них были, как тогда говорили, «итээровские», то есть они были из семей инженерно-технических работников, жили они не в квартирах, но в частных домах. Так получилось, что я у них дома никогда не был, но понимал, что их отцы принадлежат к несколько иному имущественному классу, чем моя семья: мы — отец, мать и я — жили в одной комнате в коммуналке.

Они и дружили: Лях, Ляшенко + Ляхович — с такой же элитой нашего класса, к которой я не принадлежал. Из девочек это были безоговорочно Вита Козырева и Лариса Болотова. Эти две девочки тоже проживали в частных домах. У Козыревой я несколько раз был: на стенах у них висели картины маслом и даже какие-то барельефы в виде венков и ваз. Мне это великолепие и наличие двух этажей, многих комнат, казалось несусветной роскошью. К этим пятерым, безусловно, самым богатым детям нашего класса, примыкали Витька Проуторов (я писал об этом парне в «Книге мертвых» — 1), не только потому, что жил с матерью и отчимом тоже в частном доме рядом с домом Виты Козыревой, но и потому, что был он красивый мальчик и музыкант, и Лина Никишина, — мать ее была простым доктором, и жили они не в частном доме, — подруга и Болотовой, и Козыревой. Они все так и ходили втроем в сцепке: девочки. А с ними три «ляха», как мы их называли, и Витька Проуторов. То, что они (кстати, все они были еще и первыми отличниками нашего класса) дружили все по классовому принципу, стало мне ясным лишь недавно, а именно в 2007 году. Случилось это так: в августе 2007 года украинское правительство аннулировало черный список российских граждан, которым запрещен был въезд в Украину (в списке значились такие разные люди, как Э. Лимонов, Ю. Лужков, К. Затулин, В. Жириновский или А. Дугин). Узнав об этом, 15 сентября я взял охрану, сел в автомобиль «Волга» и отправился в Харьков. 16 сентября моей матери должно было исполниться 86 лет. Мать свою, Раису Федоровну, я нашел сморщенной подозрительной старушкой с железными зубами. Тогда она еще ходила и имела достаточно сил сидеть со мной и гостями за праздничным столом. Проведя день с матерью, я отправился на следующий день посетить места моего детства и ранней юности. Меня должен был сопровождать в моем «хадже» местный

тележурналист Филипп Дикань. Мы с ним встретились в старом районе Харькова, на Салтовке, когда-то Салтовка была зеленой рабочей окраиной, но с тех пор ее поглотил город. Она давно уже не рабочая и не окраина. Мы встретились у здания бывшего клуба «Стахановец», к нашей машине подъехали телевизионные ребята Диканя. Мы все вышли из машин и стали обсуждать маршрут «хаджа». Пока обсуждали, подъехали еще две телекоманды, мы там все затоптались на некоторое время. Осень в Харькове — самое лучшее время года. Листья обычно держатся долго, очень красиво на улицах. Деревья в Харькове, кстати, не покинули улиц и не сведены только к бульварам. Они растут прямо из квадратов земли в асфальте, потому там ходишь по улицам, как в роще гуляешь.

Уже целым кортежем мы отправились в среднюю школу № 8, где я учился. Благо, она всего в нескольких сотнях метров от «Стахановца». Стоя у школы, я давал интервью, затем Дикань предложил мне снять меня внутри школы, например в классе, где я учился. Я выразил сомнение, что нам разрешат сделать телерепортаж «Лимонов в родной школе», но Дикань удивился моему пессимизму и счел нужным напомнить мне, что здесь не Россия.

— Это в России, Эдуард Вениаминович, вас ненавидит власть, здесь мы вас любим, вы наш великий земляк.

Через минут пять Дикань действительно вышел из дверей школы (куда он удалился тотчас после комплимента мне) и возвестил, что на все наши пожелания и просьбы ответ может дать только директриса, она сейчас во дворе школы.

— Кстати, сказали мне, она — дочь вашего соученика.

В это время как раз из двора пошли разного возраста и разных наций школьники и школьницы. Последними шли китайцы.

— Китайцы! — сказал я.

— Это, Эдуард Вениаминович, вьетнамцы, — заметил Дикань. — У нас тут много вьетнамцев.

Вьетнамцы выглядели чистенькими, у всех были белые манжеты и белые воротнички на темных костюмах.

— А вот и директриса, видимо! — сказал Дикань.

К нам направлялась худая высокая молодая женщина. Она улыбалась нам.

— Мне уже сообщили, — она повертела в руках мобильный телефон, потому стало ясно, что ей сообщили о моем появлении по мобильному.

— Я дочь вашего соученика Александра Ляховича!

— Ой, — сказал я, — надо же! Как он?

— Да нормально, хорошо. Новую квартиру обживает. Полы циклюет.

Мы все пошли в школу, так как дочь соученика сказала, что разрешает снимать везде, где захотим. Школа оказалась намного более просторной, чем школа моих воспоминаний. Каждый этаж обладал поистине огромным залом-коридором, полы были чуть ли не навощенными. Стены были свежеекрашены, классы вылизаны. Дети выглядели смиренными, но не подавленными. Мы зашли в один из классов, когда-то он служил кабинетом физики, и наш классный руководитель, физик, помню, заводил туда наших учеников и избивал их там, ребята возвращались, выплевывая кровь. Я не сказал об этом школьникам, слаженно вставшим при появлении директрисы Ляхович и моем.

— Вот, ребята, Эдуард Вениаминович, он окончил нашу школу, — сказала приветливо директриса.

— Да, — подтвердил я, — в 1960 году!

Выдержанные детки ничего не сказали. Однако личики их выразили и испуг, и недоверие. К той бездне, почти полу-столетней глубины, отделяющей их от того майского утра, когда вот этот, нагрянувший к ним черт знает кто, стоял на своем последнем звонке.

— Учитесь и еще раз учитесь, — покровительственно произнес я. И удалился, чтобы их не смущать. Про себя я подумал, что эта вылизанная школа, как она ни натужится, и в следующую сотню лет не примет в свои стены такого, как я. Это была чистая случайность.

Мы, когда закончили работу, стали откланиваться. Я дал дочери моего соученика номера моего мобильного и домашнего телефона моей матери.

— Кстати, — сказала она, — у отца завтра день рождения, вы, конечно, не помните, может быть, вы придете?

Я сказал, что да, разумеется, вовсе не имея в виду, что приду. Затем я отправился в дальнейшее путешествие, «хадж» привел меня в тот день и к пруду, где я мальчишкой купался и загорал, и к двери Дома культуры, где я мерз, ожидая, когда нас запустят на танцы (ноги были обернуты газетами), и к дому 22 на унылой Поперечной улице, где мы жили в те годы... Я забыл о Ляховиче и всех ляхах, и если бы сам Ляхович не позвонил мне на следующее утро, я бы так и не узнал, что Генка Лях умер.

Он позвонил довольно рано. Мать-старушка кипятила что-то на кухне. Я взял трубку. Охранники мои курили на балконе.

— Здорово, Эд, — сказал он и добавил в рифму ругательство, — х... тебе на обед! Это Сашка!

— Кто? — спросил я. Последние лет двадцать пять никто на земле, кроме родной мамы, не осмеливался называть меня на «ты», не говоря уже о ругательствах, следующих вплотную за обращением.

— Я тот, кого ты лживо назвал в своей книжке евреем, в то время как я действительный член дворянского собрания и потомственный шляхтич Ляхович! — закончил он. — У меня сегодня день рождения, Эдик. Приезжай к вечеру. Ничего особенного, выпьем в кругу семьи.

Он продиктовал адрес и объяснил, как доехать.

Если бы он не обругал меня матом, я бы не поехал к нему. Но я захотел посмотреть на наглеца. Довозил нас полковник Алёхин, мой давний приятель, за рулем была его большая юная женщина, настоящая великанша, по профессии, насколько я понял уже на следующий день, целительница.

Вечером Харьков, и район Салтовки особенно, стали непроницаемо загадочными ввиду почти полного отсутствия фонарей в этой части города. Я и два моих московских охранника на заднем сиденье «ситроена» даже притихли. Мы привыкли быть волевыми сильными ребятами, всегда управляющими ситуацией, а тут оказались несомы спорящей парой, несомы их настроением, вдруг обнаружившейся усталостью великанши. Мы сумели купить пару коробок конфет, а вот купить спиртное около полуночи на земле моего детства и юности оказалось делом невозможным. В конце концов мы так запутались в темноте и в разбитых шоссе, так завязались с ними в тугой узел, что пришлось просить помощи у друга детства.

Грубо, с матерком, Ляхович объяснял то полковнику, то великанше за рулем по мобильнику, где он будет нас ждать, и мы, наконец, остановились. Охранники вышли. Нашли лысого носатого старого мужика под фонарем. Я вышел из машины.

— Эдик, что ж ты меня в евреи записал... (мат) я член дворянского собрания, заместитель председателя... (мат)

— Хватит ругаться, Сашка, — сказал я. — Здравствуй!

Мы обнялись. Распрощались с полковником и великаншей. Пошли к нему. Квартира хорошо пахла свежим паркетом. Он горделиво показал мне несколько комнат. Предметы прилажены, налажены, сведены вместе. Дверные ручки сияют. Из таких наконец налаженных, уютных квартир, из последних пристанищ стариков и выносят на кладбище. Устроился удобно, и уже вперед ногами — пожалте.

Я пробормотал несколько приятных для него слов, но совсем не тех. Мои мысли о его доме, я их приблизительно изложил, были страшнее его грубого мата, я думаю. Потому я ему их не поведал: не дал ему испытать яду своего холодного пессимизма. В просторной свежей кухне сидели, ну, не ручаюсь за точность, но там определенно были: его круглолицая жена, его дочь-директриса, сын директрисы лишь показался. Подросток, его, как всех подростков, отрекомендовали, пробормотав: «Ему с нами неинтересно, у этой молодежи на уме компьютер, и они живут в интернете». Подростка быстро спровадили. Он посмотрел на меня с тоскою, уходя, бедняга. Там были еще две тетки. Сидели они давно, видимо...

Мне и охранникам (они спросили: «Можно, Эдуард?») налили водки и дали всяких салатов и огурчиков либо помидоров на тарелки. Все это сопровождалось замечаниями старого друга о том, что «жена у меня хохлушка» (то есть у него), и воспоминаниями: «А помнишь, как я тебе бутерброды с салом носил, когда ты в нашем подвале скрывался» (к присутствующим: «Он из дома убежал»). Я помалкивал и рассматривал его. Это был определенно Сашка, но через сорок семь лет после нашего последнего звонка. Это был высокого роста лысый мужик с большим рубильником носа, развязный и простой. В советские времена он мог быть и директором продбазы, и руководителем конструкторского бюро. Ему, видимо, легко давались социальные связи. Он был в жизни как рыба в воде. Когда он открыл форточку и закурил, то стал совсем типичным.

Странным образом они меня ни о чем не спрашивали, может быть, знали о моей жизни из газет. Пришел старший их сын, брат директрисы. Его отправили за алкоголем...

— Как наши? — спросил я, выждав момент, когда он закончит очередную волну каламбуров и словесных конструкций, подкрепленных гримасами и ругательствами.

— Наши? Да никого уж в живых не осталось. Ты, я, Толик Ляшенко... вот, пожалуй, и всё.

— А Тищенко?

— Сашка умер. Не так давно. А ты не знаешь?

— У меня одна мать здесь корреспондентом. Но они с отцом, может, ты не знаешь, еще в 1968 году уехали с Салтовки.

— Генка Лях умер, — сказал он.

— Когда?

— Да вот недавно.

— А девочки?

Оказалось, что и девочек, не всех, но нескольких убила смерть. Так как я толком не запомнил, кого именно убила, то не стану называть фамилий.

— Вита Козырева жива?

— Жива. После смерти Генки вышла замуж за К. (Он назвал фамилию ближайшего друга Генки Ляха.)

— А что, она не могла найти кого-нибудь со стороны? Как-то глупо выйти замуж за одноклассника, а после его смерти за его лучшего друга.

— Вот я взял в жены хохлушку, — сказал Ляхович. Та заулыбалась.

— У тебя фотографии наши есть, Саш?

— Есть, конечно. Сейчас принесу. — Он вышел и вернулся с несколькими пакетами фотографий. Рассматривая фото, я и понял, до какой степени «классовым» было общество нашего класса. Все его фотографии, за исключением, может быть, пары-тройки, были фотографиями его группы. Вита Козырева в кепке, Вита с палкой, Вита с нарисованными усами, трое «Ляхов», разнообразно стоящих и лежащих, в пальто и кепках, либо в спортивных костюмах, Витька Проуторов, Болотова и Никишина, и опять, и вновь. Три четвертых нашего класса отсутствовали вообще. Я был мельком запечатлен на двух-трех фотографиях.

Тут я понял, что принадлежал если не к «болоту», не к общей массе учеников, то был одиноким штучным мальчиком, эксцентричным поэтом, которого элита нашего класса держала на расстоянии. Иногда они меня приближали к себе из каприза. Иногда забывали обо мне на годы. Нельзя сказать, что это позднее открытие меня задело или обескуражило. Но оказалось именно так: у них была своя группа. Иначе я был бы на многих его фотографиях. Он не придавал мне в те годы никакой ценности.

Сейчас придавал. Он повел меня в одну из комнат, извлек из сундука красную папку и стал показывать мне сертификаты своих изобретений. Он изобрел некий кран плюс еще особую втулку. Он гордо демонстрировал мне свои патенты и объяснял. Я мало что понял, к тому же довлела все же выпитая за день водка, но одно было несомненно: он передо мною отчитывался. Он хотел продемонстрировать мне, по поводу чьего приезда в двухмиллионном Харькове собирались огромные пресс-конференции, о ком говорили все телеканалы города, чей день рождения не забывали отмечать в городе, он хотел продемонстрировать, что он, мой соученик, с которым он сидел некоторое время за одной партией, тоже многого добился в этой жизни. Я понял и терпеливо изучал патенты, хотя меня ждала на другом конце города старушка-мать.

Старушка-мать позвонила вдруг.

— Приехал, а с матерью не посидишь? Где ты, езжай домой.

Я стал собираться. Но выбраться оттуда было нелегко, как из плена. Но мы выбрались. Вызвали такси и поехали сквозь ночь. Ляхович провожал меня. Мы обнялись, и он выругался...

Из всего моего пребывания в Харькове в тот раз меня, впрочем, зрительно впечатлила более всего другая,

не человеческая драма. Но драма Тюренского пруда. (Пруд этот, находящийся на территории соседнего с Салтовкой района — Тюренки, или Тюриной дачи, обильно изображен у меня в книге «Подросток Савенко».) Пруд лежал одинокий, холодный, закисший по краям в мазуте, по нему плавали пластиковые пакеты, он на две третьих зарос бросовым камышом и рыжими, незначительными, плебейскими по происхождению водными растениями. Вышки, с которой прыгали летом спортсмены, не было, видимо, в голодные 90-е ее спилили и сдали на металлолом. Та же участь постигла высокую железную ограду. Ступени нескольких лестниц, подымавшие и опускавшие граждан от пруда и к пруду, развалились, из портиков и балюстрад были выломаны куски, непролазная черная, черноземная грязь застыла в той форме, какую ей придали последние прохожие. Только где-то на самом центре пруда ветерок шевелил рябью чистую воду. Между тем, вода была целебная и минеральная. Со всех сторон пруд окружали непотребные новые бараки и сараи. А когда-то тут кипела жизнь, гремела музыка, плавали по дорожкам в воде спортсмены, у труб минерального источника набирали воду принарядившиеся по этому случаю барышни, а их разглядывали и с ними заговаривали принарядившиеся по этому случаю кавалеры.

Не так ли и жизнь, выбрав какое-то место, вначале обживает его, делает самым замечательным для его участников местом в мире, чтобы спустя полсотни лет забросить, вытоптать, надругаться над ним и превратить в мерзость и запустение?

Пожили и ушли со своего места «Ляхи». Зато в другом месте собираются в сгусток другие ребята. А потом последние уцелевшие от резни времени выходят под фонарь лысые, носатые, сопровождая осмысленную речь еще более осмысленным горьким матом.

Как хорошо, что я не человек, но сверхчеловек.

Мой проводник

Двадцатые числа ноября 2000 года. 21-е или 22-е. Город Барнаул. Алтайский край. Мы заехали к нему в тот же двор, где его высадили 23 сентября, то есть около двух месяцев назад. Обшарпанный дом в центре Барнаула, вечно открытый подъезд, двери настежь, слева от входной — двери в квартиру. Звонка не было, стали стучать. Дверь в квартиру была тоже старая, выдавшая виды, разрисованная, потрескавшаяся, у замка — вмятины и пустоты, видно было, что замок много раз насиловали, видимо, меняли, а дверь не раз вышибали. Впрочем, мы знали, что за дверью — «сквот», так что все соответствовало. Витька жил в «сквоте», а кто прописан там как хозяин, он, может, и сам не знает. Виктор Золотарев не имеет паспорта. Он бомж.

Мы — это я и печник Николай Балувев. Он присоединился ко мне в Новосибирске, заявив, что может водить уазик и у него есть права. Права у него действительно есть, но когда мы добираемся до машины, она у нас в горах на границе с Казахстаном, выясняется, что водить он не умеет. Отчего мы искали Золотарева? Я надеялся, что он присоединится к нам и поедет с нами в горы. А если не поедет, то мы хотя бы заночуем у него в «сквоте». Мы только что приехали в автобусе из Новосиба. Хотим спать.

Дверь открывается. Девушка лет двадцати пяти на пороге, прикрывает грудь шалью: простоволосая, с красивым, совсем простонародным лицом.

— Мы к Виктору, — говорю я.

— Виктор умер, вчера похоронили, — говорит она.

Теперь проступают крупным планом ее заплаканные глаза. Теперь я ее узнаю, это ее я уговаривал отпустить с нами Виктора в августе этого же года. Отпустить в горы. И уговорил. Она из Москвы, его девушка.

— Как это случилось?

— Нашли мертвым. — Она берется за дверь. — Извините, я не могу разговаривать. Я очень устала. — Закрывает дверь.

Николай Балугев — странный молодой человек с наивным лицом — ничего не понимает.

— Надо же, — говорю я, — я высадил его здесь двадцать третьего сентября, загорелого, здорового, он взял свой мешок, там у него были вещи, попрощался и вошел в эту дверь.

Кто мог знать... Ему лет под сорок всего... Было.

Ловим машину и направляемся к местному руководителю нашей партии, журналисту Евгению Берсеневу. Мы запоздали на целую неделю. Я звонил Берсеневу из Красноярска и договаривался, что приеду в середине ноября, но по независящим, как говорят, обстоятельствам, приехал позже. В Красноярске я работал над книгой о предпринимателе Анатолии Быкове, опрашивал свидетелей. У Берсенева выясняется вот что — цитирую, чтобы не повторяться, по моей книге «В плену у мертвецов»:

«17 ноября, около 23.30, Виктор Золотарев, 1958 г. р., уроженец города Бийска, житель Барнаула, выходит из квартиры Берсенева по ул. Попова, всего лишь за сигаретами. Он выходит с намерением тотчас вернуться и не возвращается никогда. Около четырех часов утра его труп находит некая женщина, выгуливающая собаку. Совсем рядом, в районе пятиэтажных домов. Метрах в ста от дома Берсенева».

Берсенов, хлопая белыми ресницами, рассказывает, что весь день 17 ноября Золотарев провел у него. Более того, он явился к Берсеневу вечером 16 ноября. Переночевал. Весь день 17-го они провели в разговорах. Согласно Берсеневу, уходя за сигаретами, Золотарев был трезв.

«Наш и его товарищ, его одноклассник Олег Михеев говорил с продавщицами ночного магазина, куда пошел за сигаретами Виктор, — продолжает Берсенов. — Продавщица сообщила, что человек с бородкой (она знала Золотарева в лицо, он дружил с Берсеновым и приходил часто) был, купил сигареты. Повернулся уходить, но к нему подошли какие-то люди. Продавщица видела Золотарева, уходящего с ними. Милиция провела, говорят, расследование. Но меня, Эдуард, — Берсенов хлопает ресницами, — даже не спрашивали. Михеев проводит свое расследование. Мы считаем, что Витьку убили...»

Золотарев был со мной на Алтае в августе/сентябре этого, 2000, года, я его уговорил, его девушка не хотела его отпускать. Он был нашим проводником, так как хорошо знал горы, животных, травы и корни Республики Алтай, был неутомимым ходяком, инструктором и мастером по выживанию. Он научил нас ловить сетью рыбу, печь лепешки, распознавать съедобные грибы и превратил городских жителей во вполне сносных обитателей гор.

Смерть его выглядела странно. Причин для нее не было, его не ограбили, он был трезв. Он намеревался вернуться, купив сигареты. К тому же было много побочных обстоятельств. За мной велась слежка: на вокзале в Красноярске меня провожали топтуны. Одинокие, на мерзлом перроне, они ушли, только когда уехал я. Я должен был остановиться у Берсенева, договорился об этом по телефону 12 или 13 ноября. Приехать должен был 15–16-го. Как раз в это время к Берсеневу явился Золотарев. А так случилось, что я и этот барнаульский бомж в Барнауле и Дерсу-Узала в горах, чрезвычайно оказались похожи: мы одинакового роста, одинакового телосложения. У него были такого же типа бородка и усы. Разница в возрасте — 15 лет — перекрывалась вполне

моей молоджавостью и его некоторой преждевременной изнуренностью. Он, правда, был лысоват и потому брился наголо, но в середине ноября головной убор в Барнауле obligatory. Его могли принять за меня.

То, что за мной следили, блестяще подтвердилось уже через несколько дней. Выехав в Республику Алтай на автомобиле некоего охотника, мы были остановлены на выезде из Барнаула. Нас обыскивают. Командует десятком ментов, обвешанных оружием, бледный эфэсбэшник, якобы представляющий уголовный розыск. С ним нас уже ждут понятые, то есть понятых нашли раньше, чем остановили нас.

Как я себе представлял тогда и представляю сейчас убийство Золотарева? Ну разумеется, у них не было цели убивать его. Они следили за квартирой Берсенева, зная, что я приеду 15-го или 16-го. Когда к нему пришел вечером Золотарев, они приняли его за меня и продолжили слежку. Вечером в 23.30 следующего дня «объект» вдруг выходит, идет в магазин. Покупает сигареты. Велик соблазн. Им никто, может быть, не приказывал задерживать Эдуарда Лимонова, но они же провинциальные эфэсбэшники, всем им греются великие подвиги, раскрытие заговоров и повышение по службе и в звании. Подходят:

— Пройдемте с нами! Ваши документы!

Может быть, они бы проверкой и ограничились. Но у Золотарева нет паспорта. Он не то выбросил его принципиально, по натуре он анархист, собиратель корней и не сгибающийся выю перед властями альтернативщик. Не то он потерял свой паспорт давным-давно.

— Как нет паспорта, парень?! Ты же Лимонов, вчера приехал из Новосиба...

— Вы чего, ребята, у вас что с головами?

— Идем! Разберемся. — Они сажают его в машину. И везут на допрос. Обычно это делается в управлении, но вероятнее всего, так как он задержан без причины,

следовательно, незаконно, они везут его на одну из контролируемых квартир, либо квартиру их агента. И там допрашивают.

Дополнительная злоба и страсть у эфэсбэшников в этот день имеет под собой причину. Золотарев погиб в ночь с 17 на 18 ноября, его нашли мертвым, сброшенным из окна, по версии милиции, около 4 утра 18 ноября. А именно 17 ноября, вопреки активному противодействию российской ФСБ и латвийских спецслужб (об этом противодействии мне расскажет позже, после ареста, подполковник ФСБ Кузнецов), трое нацболов захватили собор Святого Петра в городе Риге. К концу дня об этом объявило большинство российских радио- и телеканалов. Им есть от чего быть злыми. Десятки нацболов задержаны, сняты с поездов, восемь человек арестованы в Латвии, а акция все же проведена!

Уже ясно, что он не Лимонов. Но он значится у них как проводник отряда Лимонова в горах на границе с Казахстаном.

— Что ты там делал, сука?! Признавайся!

Следуют удары... В конце концов, впад в раж, они перестарались. Золотарев мертв в результате несдержанных ударов, может быть, по голове, может, в область сердца. Они ругаются матом, а затем поступают согласно старой методике КГБ: чтобы скрыть убийство, выбрасывают труп из окна. (Второй метод — бросить труп под колеса поезда: никакой патологоанатом не обнаружит истинную причину смерти.) Выбросили его из окна того дома, у которого его нашли, либо выбросили из окна иного дома, а труп подбросили под этот дом, суть лишь детали.

О нет, читатель, это не моя буйная фантазия. Сейчас я подкреплю свой сценарий произошедшего весомыми фактами. Оказавшись в тюрьме, я стал размышлять о таинственной смерти Золотарева. Он и майор Бурьгин,